



Максим Пахотин

# Бесперспективный Холод. Плен

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

18+

# Максим Пахотин

## Бесперспективный Холод. Плен

*<https://litres.ru/74051336>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Март 2022 года. Подполковник Росгвардии после тяжелого ранения попадает в плен в Киеве. СИЗО СБУ встречает его не допросами — ледяным бетоном, голодом и запахом гнили. Здесь время застыло, а единственное оружие — не сломаться.

В камере, где надежду вымораживают гимном на полную мощность, оказываются разные люди: капитан-десантник с гниющей раной, двадцатилетний контрактник, мечтающий лишь позвонить маме, сбитый лётчик, не потерявший достоинства, и учительница из Киева, ставшая «чужой» для всех.

«Бесперспективный холод» — жестокая и честная проза о плене без пафоса и громких слов. О том, что война не делит на чёрное и белое, а ломает каждого. И о том, что даже в бетонном мешке человек остаётся человеком, пока помнит имя и ждёт возвращения домой.

Внимание! Книга содержит сцены насилия и нецензурную лексику. Рекомендуются совершеннолетним читателям.

# Максим Пахотин

## Бесперспективный

### Холод. Плен

**Книга третья. Бесперспективный холод**

**Часть первая. Плен**

**Глава 1. СИЗО. Киев**

Камера встретила его запахом сырости, мочи и той особенной, въедливой холодной пустоты, которая бывает только в местах, где человеческое тепло не задерживается. Стены — стандартные, серые, с облупившейся краской и сырими разводами в углах. Пол — бетонный, ледяной, покрытый чьим-то давним, не отмываемым налетом. Маленькое окно под самым потолком — зарешеченное, в два прута, сквозь которые пробивался тусклый, безнадежный свет мартовского утра. Две двухъярусные кровати из ржавого металла, без матрасов, только голые сетки, пружинившие под весом. В углу — параша, ржавая, с засохшими следами.

Михалыча втокнули внутрь, когда за окном уже начинало сереть. Он споткнулся о порог, едва удержавшись на ногах — оперированная нога ныла тупой, пульсирующей болью, и каждый шаг отдавался в позвоночнике. Конвойный, тот самый молодой из СБУ, что любил кричать и бить, молча захлопнул тяжелую дверь. Лязгнул засов, щелкнул замок.

И наступила тишина. Не та, что в лесу перед обстрелом, а мертвая, ватная, давящая на уши.

Первые несколько дней Михалыч в камере был один.

Он сидел на нижней койке, поджав под себя здоровую ногу, и смотрел в зарешеченное окно. Март в Киеве стоял злой, промозглый. С утра до вечера небо висело низкое, серое, и сквозь стекло (единственное, целое в этой камере) тянуло таким холодом, что дыхание вырывалось паром. СИЗО не отапливали. То ли сознательно, то ли просто потому, что война всё перекрыла — какая разница. Холод пробирал до костей, заставлял мышцы судорожно сжиматься, и единственным спасением была старая соборовская куртка, которую с него не сняли. В ней, грязной, рваной, вонявшей гарью и потом, он спал, в ней же сидел, привалившись спиной к холодной стене.

Нога болела. После операции, сделанной в ирпенской больнице на скорую руку, она заживала медленно, неправильно — или, может, так и должно было быть, когда раненого через несколько дней вырывают из больничной палаты, заковывают в наручники и везут в неизвестность. Осколок перебил мышцы, задел кость. Хирург, пожилой усталый мужчина, сделал что мог, но швы тянули, и под повязками, которые никто не менял, саднило и зудело. Каждое движение отдавалось острой вспышкой, и Михалыч научился двигаться медленно, плавно, бережно, как старик.

В камере не было ничего. Только сетки кроватей, параша

и бетонный пол. Ни тумбочки, ни табурета, ни даже крючка для одежды. Он повесил куртку на спинку верхней койки, когда ложился, но скоро понял, что так холод пробирает еще быстрее — стены вытягивали тепло из любого тряпья. Стал спать в куртке, накинув капюшон на голову. Помогало слабо.

Он вспоминал. Вспоминал лихорадочно, вперемешку, как в бреду. Мост, желто-синие перила, взрыв, переворачивающий автобус. Егорыча, который тащил его к синей «шестерке». Крики, кровь, темнота. Потом — больница, белый потолок, старуха с тяжелым взглядом и молодая медсестра, шепчущая: «Слушай сюда. Та бабка — нацистка. Она тебе не помощник». А потом — СБУ, молодой с наглыми глазами, противогаз с перекрытым клапаном, удушье, от которого темнеет в глазах, и хриплый шепот: «Скажешь правду?»

Что с ребятами? Агапов, Егорыч, Саян, Кречет? Они ушли? Их всех перебили, как сказал тогда тот, молодой? Или прорвались к аэропорту? Он не знал. И это незнание было хуже любой боли. Оно грызло изнутри, заставляло по ночам ворочаться на жесткой сетке, слушать, как за стеной кто-то кричит — то ли в бреду, то ли под пытками.

На третьи сутки, под вечер, дверь лязгнула снова. Михалыч вздрогнул, инстинктивно вжался в стену. В проеме — двое конвойных и что-то на полу. Мешок? Нет, тело. Голое, исхудавшее, в грязных, пропитанных чем-то темным повязках на руках и груди.

— Принимай пополнение, — усмехнулся один из конво-

иров, и дверь захлопнулась.

Тело лежало, не шевелясь. Мужчина лет тридцати, десантник — Михалыч узнал тельняшку, вернее, то, что от нее осталось: полоски синего и белого, кое-где прилипшие к телу. Лицо бледное, осунувшееся, с запекшейся кровью на губах. Повязки на груди и на руке были старыми — наложенными, видимо, давно, и пропитались сукровицей и кровью настолько, что превратились в бурые, жесткие корки. Десантник дышал — прерывисто, со свистом, и из горла рвался сдавленный, непрерывный стон.

— Эй, — позвал Михалыч, спускаясь с койки. — Слышишь меня?

Десантник не ответил. Только застонал громче, когда Михалыч попытался приподнять его за плечи. Тело было горячим — жар, наверное, начинался. Или уже всюю пекло. Повязки воняли гнилью — раны, похоже, загнаивались.

Михалыч подхватил десантника под мышки, потащил к кровати. Нога отозвалась резкой болью, но он стиснул зубы, перетерпел. Закинул тело на нижнюю койку, ту, что была свободна. Десантник охнул, скрючился, поджал ноги к животу, но не открыл глаз.

— Как же тебя, брат, — прошептал Михалыч.

Он оглядел камеру. Ничего, что могло бы согреть или облегчить страдания. Только его собственная куртка. Он снял ее, накрыл десантника — сначала ноги, потом грудь, оставив только лицо. Теперь сам остался в одном грязном тельнике.

Холод сразу же набросился на него, облепил кожу, заставил мышцы затрястись мелкой дрожью.

— Держись, — сказал он десантнику, хотя тот его, скорее всего, не слышал. — Ничего, прорвемся.

Он сел на свою койку, сжался в комок, обхватив колени руками. Нога болела — от холода, от напряжения, от всего сразу. Боль поднималась от щиколотки к бедру, тупая, ноющая, и он закусил губу, чтобы не застонать.

Десантник метался в бреду. Иногда затихал, и тогда Михалыч думал, что тот умер. Потом снова начинал стонать, бормотать что-то неразборчивое — про мать, про взвод, про «тех, кто предал». Слова были рваными, бессвязными, но в них чувствовалась такая боль, что у Михалыча сжималось сердце. Он подходил, поправлял куртку, пробовал дать воды из кружки, которую приносили с баландой. Десантник пил жадно, захлебываясь, и снова проваливался в забытие.

Ночью Михалыч не спал. Слушал, как за стеной кто-то плачет — глухо, по-мужски, взхлеб. Как где-то в коридоре лязгают замки и звучат шаги. Как десантник рядом втягивает воздух ртом, судорожно, будто каждый вдох — последний. Холод лез под тельник, щипал кожу, заставлял зубы выбивать дробь. Он сжался в комок, обхватил ногу руками и смотрел в зарешеченное окно, за которым темнело мартовское небо без звезд.

А утром, едва рассвело, за ним пришли.

— Выходи, — конвойный даже не зашел, просто распах-

нул дверь. — На допрос.

Михалыч взглянул на десантника. Тот лежал все так же, скрючившись, с закрытыми глазами. Куртка сползла на пол. Михалыч поднял ее, снова накрыл десантника, прижал края под спину, чтобы не сбилась.

— Вернусь, — сказал он, не зная, кому — то ли конвоиру, то ли десаннику.

В коридоре было так же холодно, как в камере. Голые стены, цементный пол, запах хлорки и лекарств. Конвойный — другой, незнакомый, с усталым лицом — молча кивнул, и они пошли по длинному, бесконечному коридору, под аккомпанемент собственных шагов, гулким эхом разлетающихся под бетонными сводами.

В кабинете, куда его привели, было не теплее. Ржавая батарея под окном не грела. За столом сидел тот самый, молодой, с наглыми глазами. Рядом — двое амбалов в камуфляже.

— Садись, — молодой кивнул на стул.

Михалыч сел. Руки сами потянулись к коленям — сцепить пальцы, чтобы не дрожали.

— Ну что, враг? — молодой усмехнулся, доставая сигарету. — Отдохнул? Поговорим теперь по-серьезному.

Михалыч молчал. Смотрел в окно — там, за решеткой, виднелся кусочек серого неба, такое же, как в камере. И думал о десаннике, который остался там, один, на грязной койке, с гниющими ранами. И о том, что, может быть, сего-

дня его будут бить. Или снова наденут противогаз. Или что-то похуже.

Но он знал одно: не сломается. Потому что там, за этими стенами, есть свои. Агапов, Егорыч, Саян. И они живы. Они должны быть живы. А значит, и он будет жить.

— Буду, — ответил он твердо, глядя в глаза следователю. Допрос только начинался.

## Глава 2. Допрос

Допросы начались на четвёртые сутки. Сначала Михалыч сбился со счёта, потом перестал пытаться. Каждый день — одно и то же. Те же вопросы, те же крики, тот же молодой следователь с наглыми глазами. Иногда его били. Иногда просто орали. Иногда надевали противогаз и перекрывали клапан, и тогда мир сжимался до одной-единственной мысли: вдохнуть.

Михалыч держался. Называл только позывной, часть не называл, командиров тоже. Говорил, что был ранен, что очнулся в больнице, что ничего не знает. Следователь бесился, но пока не переходил определённую грань. Пока.

В тот день всё пошло иначе.

Его вызвали утром, когда за окном ещё не рассвело. Михалыч сполз с койки, натянул тельник — куртка осталась на десантнике, который всё так же лежал на нижней койке, стоял и метался в бреду. Нога болела, ребра ныли после вче-

рашних ударов, но он привык. Привыкаешь ко всему.

В кабинете, куда его привели, было не теплее, чем в камере. Ржавая батарея под окном не грела. За столом сидел следователь — тот самый, молодой, с наглыми глазами, в котором злоба смешалась с усталостью. Рядом — двое амбалов в камуфляже.

— Садись, — сказал следователь, кивнув на стул.

Михалыч сел. Руки сами потянулись к коленям — сжать пальцы, чтобы не дрожали.

Следователь помолчал, поигрывая сигаретой, потом заговорил. Голос был ровный, почти спокойный, но от этого спокойствия становилось только страшнее.

— Сегодня будем записывать видео. Пресс-конференция. Для иностранных журналистов. Скажешь, что Россия — агрессор, что вы вторглись, что ты не хотел воевать. Всё просто.

Михалыч открыл рот, чтобы ответить. Он не знал, что скажет — может, согласится, может, пошлёт их. Но сказать ему не дали.

Сзади накинули мешок. Холщовый, вонючий, плотный — свет погас мгновенно. Руки заломали за спину, защёлкнули наручники прямо на подлокотниках стула. Он дёрнулся, но куда там — двое амбалов прижали так, что не вздохнуть.

А потом начали бить.

По рёбрам. Слева, справа, методично, с короткими паузами, чтобы он успел почувствовать каждый удар отдельно.

Михалыч напряг пресс, пытался держать удар, но они пробивали — с каждым разом всё сильнее, всё глубже. Где-то на третьем или четвёртом ударе он услышал хруст. Знакомый, тошнотворный звук ломающейся кости. Ребро. Или не одно — уже не разобрать.

Потом кто-то из них, тот, что справа, догадался бить по раненой ноге. Удары приходились чуть выше колена, туда, где под повязкой ещё не затянулись швы. Михалыч заскрежетал зубами, вжался в стул, но они достали его и там. Каждый удар отдавался в позвоночнике, в затылке, в глазах — вспышками белого, багрового, чёрного.

Он хотел сказать: «Прекратите, я согласен». Сказать, что будет любое видео, любые слова, лишь бы прекратили. Но для этого нужно было сделать вдох. А вдохнуть он не мог. Дыхание сбилось, сжалось в груди — под сломанными рёбрами, под ударами. Он ловил воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег, сипел, давился, но не мог выдать ни звука.

Минута. Две. Десять. Михалыч потерял счёт времени. Ему казалось, что прошла вечность. Что его бьют уже час, день, неделю. Каждый удар отдавался в ноге огнём, и он чувствовал, как под повязкой расплывается что-то тёплое, липкое — кровь. Швы, наверное, разошлись.

А потом всё кончилось. Так же внезапно, как началось.

Мешок сдернули. Свет ударил в глаза, и он зажмурился, чувствуя, как по щекам текут слёзы — не от боли, от напря-

жения, от нехватки воздуха. Наручники расстегнули, и он сполз со стула, рухнул на холодный пол, пытаясь отдышаться. В груди хрипело, рёбра отзывались на каждое движение такой болью, что темнело в глазах. Нога горела, пульсировала, и он боялся посмотреть — не разошлась ли рана, не течёт ли кровь сильнее.

— Уводите, — услышал он сквозь звон в ушах голос следователя. — Завтра проверим, как выучил.

Его потащили к выходу — за плечи, волоком, не заботясь о том, что ноги не слушаются. Коридор, лестница, снова коридор. Лязгнул замок, и он упал лицом вниз на бетонный пол камеры. Рядом что-то шмякнулось — бумага. Лист формата А4, исписанный мелким шрифтом.

— Учи, — бросил конвойный, и дверь захлопнулась.

Михалыч лежал, не двигаясь. Щекой чувствовал холодный, шершавый бетон. В груди каждое дыхание отдавалось резкой болью — рёбра, похоже, были сломаны не все, но несколько точно. Нога пульсировала, и он понял, что просто так не встанет. Нужно отдышаться. Перетерпеть.

Он не знал, сколько пролежал так. Минуту, пять, час. Десяти минут на соседней койке, казалось, не замечал его — всё так же стонал, ворочался, бредил. Михалыч приподнялся на руках, огляделся. Бумага лежала рядом — текст, который надо было выучить. Он не стал его читать. Потом. Сначала надо встать.

Опершись на руки, он поднялся на колени, потом, дер-

жась за край койки, заполз на неё. Улёгся на спину, глядя в серый потолок. Ребра саднили. Нога буквально нарывала — несколько ударов пришлось точно по ещё не зажившей ране. Он закусил губу, чтобы не застонать. Сосредоточился на дыхании — медленно, глубоко, не обращая внимания на боль.

И в этот момент услышал голос. Тонкий, молодой, почти детский. Он шёл откуда-то сверху.

— Если вы согласитесь сказать всё, что они просят, — голос дрожал, срывался на шепот, — нам дадут одеяло. И отопление включат в камере. А главное... дадут позвонить маме.

Михалыч замер. Медленно приподнялся на локтях, заглянул наверх — на верхний ярус своей кровати. Там, скрючившись в комок, лежал парень. Лет девятнадцати, не больше. В спортивном трико и в куртке ВС России — без знаков различия, но родной, знакомой расцветки. Лицо бледное, испуганное, глаза красные — то ли от недосыпа, то ли от слёз. Он сжался в калачик, обхватив колени руками, и смотрел на Михалыча снизу-вверх — затравленно, с надеждой.

— Чего? — выдавил Михалыч. Голос прозвучал хрипло, чужо.

— Меня вчера привезли, — парнишка говорил быстро, боясь, что его перебьют, не дадут договорить. — Я под Черниговом в первый день попал. Где точно — не знаю. Меня ранило, я сознание потерял. Очнулся — уже в больнице. Они мне... операцию сделали.

Он замолчал, часто заморгал, будто прогоняя накатившие слёзы.

— Какую операцию? — спросил Михалыч, хотя уже догадывался. Сердце ухнуло куда-то вниз.

Парень не ответил. Только медленно, не глядя, показал рукой вниз своего тела. На пах. И в этом жесте было столько боли, стыда и отчаяния, что Михалыч на секунду забыл о своих сломанных рёбрах.

— Чтобы детей не было, — прошептал парень, и слёзы всё-таки потекли по его щекам. — Они мне сделали... чтобы я никогда...

Он замолчал, часто и мелко закивал, будто соглашаясь сам с собой. Потом вытер лицо рукавом куртки, глубоко вздохнул и сказал, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо:

— Да мне похрен. Я просто хочу домой. К маме.

Михалыч смотрел на него. На этого мальчишку в спортивном трико, который ещё, наверное, ни разу в жизни не брился. Который попал в войну в первый же день, потерял сознание, а очнулся уже кастрированным. И который сейчас просил — умолял — о единственном: сказать те слова, которые требуют, лишь бы дали позвонить маме.

Михалыч медленно сглотнул. Горло пересохло, и комок застрял где-то посередине.

— Мама, говоришь, — сказал он тихо.

— Ага, — парень шмыгнул носом. — Она там ждёт. Я ей обещал, что вернусь...

Он не договорил. Сжался ещё сильнее, уткнулся лицом в колени, и плечи его затряслись — в тихой, молчаливой истерике, без звука. Только вздрагивал, будто его бил озноб, хотя в камере и так было холодно, как в склепе.

Михалыч опустил на свою койку. Не сказал ни слова. Что тут скажешь?

Он посмотрел на десантника — тот лежал неподвижно, только грудь едва заметно поднималась. Потом снова на верхнюю койку, где парнишка уже затих, свернувшись в комок, и только по редким всхлипам можно было понять, что он не спит.

«Каждый из нас здесь за что-то держится, — подумал Михалыч. — Десантник — за жизнь. Этот пацан — за маму. А я? За что держусь я?»

Он не знал ответа. Просто лёг на спину, прикрыл глаза и попытался не думать о том, как хрустят рёбра при каждом вдохе. Не думать о ноге, которая горела и пульсировала. Не думать о тексте на бумаге, который валялся на полу.

Холод наваливался, как тяжелое одеяло — тот самый бесперспективный холод, от которого не согреться. Он пробирал сквозь тельник, сквозь раны, сквозь кожу. Забирался под рёбра, сжимал сердце. Михалыч знал это чувство — оно было знакомо ещё с февраля, с той ледяной воды в берцах, с того сырого, промозглого леса под Гостомелем.

Он медленно, осторожно, стараясь не застонать, свернулся в клубок. Поджал раненую ногу, прижал руки к груди —

там, где болели рёбра. Глаза закрылись сами собой.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.